

АДВОКАТ ПАДШИХ

Записано.
Засвидетельствовано.



ОЛИВИЯ КРОСС

Оливия Кросс
АДВОКАТ ПАВШИХ

«Автор»

2026

Кросс О.

АДВОКАТ ПАВШИХ / О. Кросс — «Автор», 2026

Допотопная земля трещит под ногами нефилимов — детей падших Стражей. Люди видят только следы: вмятины в тридцать локтей, спрессованную до камня траву и кровь, впитавшуюся в глину. Енох — деревенский писец. Он фиксирует долги и межевые споры, а не судьбы мира. Его главное достоинство одно: он не умеет лгать в записи. Когда двести падших Стражей просят его составить петицию к Небу, Енох ещё не знает, что это не просьба о прощении, а свиток обвинения против них самих. Он станет тем, кто понесёт их слова к реке Дан, к Небу, которое слышит, но не утешает. Тем, кто вернётся с приговором — и должен будет прочитать его тем, за кого просил. «Адвокат падших» — история о человеке, которого выбрали не за силу, а за точность. О вине без злого умысла, о сочувствии, которое стоит прежней жизни, и о письме как единственном способе сказать миру: «Записано. Засвидетельствовано.»

© Кросс О., 2026

© Автор, 2026

Оливия Кросс

АДВОКАТ ПАВШИХ

ГЛАВА 1 — ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ ТЕНИ

Енох услышал запах раньше, чем понял, что кто-то плачет.

Запах был чужой для утреннего рынка — железо и прогоркшее масло, как возле жертвенного очага, который забыли потушить. Он поднял голову от таблички, увидел толпу возле лавки с зерном и только тогда разобрал сквозь гул голосов прерывистые всхлипы.

— Я так говорю: граница шла по вон тому камню, — упрямо повторил мужчина с квадратной бородой, ткнув пальцем в землю прямо перед носом Еноха. — А он его передвинул. Ночью.

— Камни сами не ходят, — ответил другой, худой, с узкими плечами. — Он старый, он не помнит. Запиши как надо, писец.

Слово «плачет» ещё не оформилось в голове, только режущий ухо звук. Зато правое сухожилие — тонкий светлый шрам от запястья к локтю — отозвалось первым: зачесалось, как всегда, когда что-то шло не по привычному порядку. Енох почесал его тыльной стороной ладони, чтобы не испачкать табличку.

— Я записываю, как сказано, — произнёс он спокойно. — «По камню у смоковницы». Вы оба видите смоковницу?

Оба обернулись. Смоковница стояла там же, где всегда — на краю площади, у дороги к реке Дан. Крона ещё редкая, светлая зелень листьев, сквозь неё — склон Ермона с лёгкими полосами дыма у подножия.

— Вижу, — буркнул квадратнобородый.

— И я вижу, — сказал худой.

— Тогда так и будет записано, — сказал Енох. — «По камню у смоковницы, стоящей на краю рынка, у дороги к Данну».

Он выдохнул, чувствуя, как слова укладываются в глину: ровные, знакомые, как камни в стене. Ему нравилось это ощущение — когда формулировка становилась окончательной, как камень, который больше не двинут.

Плач тем временем стал громче. Женский. Кто-то всхлипнул так, что голос сорвался на хрип.

— Чего она опять? — раздражённо сказал худой, косясь через плечо. — У неё каждый год кто-нибудь умирает.

Енох поднёс тростниковое перо к краю таблички, чтобы завершить запись, но рука задержалась. Запах железа и мёда стал явственнее. Так пахли руки мясников у реки. Так пахли одежды тех, кто возвращался с войны.

Он поднял голову.

Женщина сидела прямо на земле, возле лавки с маслом. Платье на коленях помято и мокро, волосы сбились в узел на затылке. Лица он не видел — она закрыла его ладонями. Люди вокруг стояли полукругом, кто-то шептался, кто-то просто смотрел.

— Писец, давай быстрее, — поторопил квадратнобородый. — Мне к полудню к стаду.

— Подпишите, — мягко сказал Енох, не отрывая взгляда от женщины.

Он повернул к ним табличку. Оба наклонились, ставя свои неровные, тяжёлые знаки. Глина чуть качнулась под нажимом. Енох подождал, пока отпечатки застынут, забрал табличку и аккуратно положил на деревянный лоток рядом — к другим, уже подсыхающим.

Сухожилие на правой руке зудело сильнее. Он стёр палец о край туники и поднялся.

— Я вернусь, — бросил он через плечо мужчинам, которые уже начали спорить между собой так, словно его здесь и не было.

Толпа перед лавкой с маслом расступилась нехотя. Кто-то потянул его за рукав.

— Не лезь, писец. Там всё равно уже ничего не сделаешь.

— Я не лечу, — сказал Енох. — Я только слушаю.

Женщина услышала его шаги и подняла голову. Лицо красное, глаза залиты слезами, ресницы слиплись. На щеке — коричневое пятно засохшей крови. Не её.

— Ты писец? — спросила она, с трудом набирая воздух. — Ты тот... что записывает?

— Да, — ответил Енох. Он присел на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. — Что случилось?

Она оглянулась по сторонам, как будто искала, у кого спросить разрешения говорить. Никто не ответил её взгляду. Каждый был занят своим делом — смотреть.

— В соседней деревне... — выдохнула она, и голос снова сорвался. — Там... след. Огромный. Вся земля... — она запуталась в словах, ртом хватая воздух, и вдруг, как будто споткнувшись, выдохнула: — Он плакал.

Енох почувствовал, как внутри всё чуть-чуть сместилось, как если бы камень под ногой оказался мягче, чем должен.

— Кто плакал? — спокойно спросил он.

— Великан, — сказала она. — Нефилим. Один из тех... — она махнула рукой в сторону гор, не зная, куда именно показывать. — Он шёл, как буря. Все легли на землю, думали — сейчас раздавит. А он остановился. Сел. Закрыв лицо руками. И плакал. Так, что земля дрожала.

Кто-то хмыкнул. Кто-то выругался сквозь зубы.

— Ты сама видела? — спросил Енох.

Она кивнула.

— Я была у колодца. Я не успела убежать. Я думала — всё. А он сел рядом. Ногой. — Она показала на землю перед собой. — Тут вот, как от стены до лавки. Я слышала, как он... — она снова запнулась, провела рукой по горлу, будто показывая, как воздух рвётся.

Запах железа и мёда стал ещё сильнее. Енох оглянулся: лавка с маслом, корзины с семенами, открытые кувшины с жирными разводами. Никакой крови. Только запах, который не должен был быть здесь, среди криков продавцов и мычания привязанных коз.

— Где это было? — спросил он. — Какая деревня?

— За Данном, к югу, — быстро ответила она, ухватившись за его ровный голос, как за палку в воде. — Там, где старый дуб, который молния ударила. Ты знаешь.

Он знал. Сын когда-то приносил оттуда жёлуди, чёрные с одной стороны.

— Что с ним стало? — спросил Енох. — С великаном.

Она закусила губу так, что выступила свежая кровь.

— Он встал. Пошёл. А потом... — она сглотнула. — Потом его нашли. Уже... не живого. Там, где земля вминается, как от камня, когда его роняют. Только больше.

В толпе зашептались громче.

— Откуда ты знаешь, что он плакал, а не ревел? — хмуро спросил кто-то сзади. — От страха, может.

Женщина дёрнулась, будто её ударили.

— Это был не страх, — резко сказала она, и голос на миг стал твёрдым. — Я слышала, как кричат... когда уже всё.

Она запнулась на последних словах, будто они были слишком тяжёлыми.

Енох уловил, как это «слышала» ударило в воздух, как камень в воду. Он не спросил, кого она слышала раньше. Это было не его дело. Ему нужно было другое.

— Ты хочешь, чтобы я записал? — спросил он.

Она посмотрела на него, как на человека, который предложил невозможное.

— А можно?

— Можно записать всё, что было, — ответил он. — Это не отменит. Но будет.

Она кивнула, словно сама себе. Слёзы всё ещё текли, но голос стал чуть понятнее.

— Запиши, — прошептала она. — Что он... что он плакал.

Слово повисло между ними тяжёлым узлом.

Енох кивнул и встал. Вернулся к своему низкому столу, вытащил из корзины чистую глиняную табличку — мягкую, чуть влажную, готовую принять следы. Сухожилие на правой руке ныло, когда он наклонялся. Он взял перо, провёл по поверхности, выравнивая.

«В деревне...» — начал он мысленно, ещё не касаясь глины. — «...за рекой Дан, у старого дуба, который молния ударила...»

Он поставил первые знаки: название деревни, указание на дуб, расстояние от города. Рука двигалась автоматически, рисунок букв был ровным, как всегда. Когда дошёл до фразы с великаном, перо на миг застыло.

«Плакал».

Он аккуратно вывел первый знак, потом второй. «Пла...» Кончик пера дрогнул, глина чуть съехала под пальцами. Енох остановился.

Слово уже было. Маленькое, неровно врезанное в ещё влажную поверхность.

Он посмотрел на него долго. «Плакал». Нефилим плакал. Великан, тень которого перекрывает всю улицу, сидит на земле и закрывает лицо руками.

Сухожилие зачесалось так, что захотелось расцарапать кожу до крови.

Енох аккуратно провёл ногтем левой руки по свежему слову, задевая только верхний слой глины. Буквы смазались. Слово превратилось в грязное пятно, в котором ещё угадывались очертания, но уже не читалось.

Он не вздохнул и не выругался. Просто подождал, пока зуд в руке чуть утихнет. Потом снова поднёс перо и вывел слово ещё раз.

«Плакал».

Теперь буквы были крупнее, чем должны быть в этой строке. Чуть неровные. Они выбивались из общего ряда, как высокий человек в толпе.

Енох оставил их такими.

Он дописал: «...великан из сынов Стражей, оставивший вмятину в земле в тридцать локтей длиной, сидел и плакал». Добавил: «Свидетель: женщина с рынка, имя...» — вернулся к ней, узнал имя, вернулся, записал. Потом ещё раз перечитал всё от начала до конца.

«В деревне за рекой Дан, у старого дуба, который молния ударила...» — слова шли цепочкой, перевешивая сами себя. «...оставивший вмятину в земле в тридцать локтей длиной...» — измерение, точное, понятное. Кто-то в толпе уже перешёптывался насчёт «локтей», спрашивал, сколько это.

Тридцать локтей тени.

Он задумался на мгновение, потом внизу добавил: «Трава в том месте спрессована, как после тысячелетнего давления».

Это сравнение пришло само. Он увидел его внутри головы: как если бы кто-то положил камень на одну и ту же точку и держал столетиями. Такая тяжесть не бывает случайной.

— Ты запишешь, что он плакал? — тихо спросила женщина, подойдя ближе. Её тень легла на табличку.

— Уже записал, — сказал Енох.

Он чуть отодвинул табличку, чтобы она не задела её одеждой. Глина была ещё мягкой. Сухожилие перестало чесаться, но память о зуде сидела под кожей, как эхо.

— Это... — она запнулась, подбирая слово. — Это останется?

— Пока табличка цела, — ответил он. — Останется.

Она кивнула и вдруг выглядела так, будто ей стало немного легче. Не потому, что великан плакал, а потому, что кто-то увидел и записал.

— Спасибо, писец, — сказала она и отошла, прижимая руки к груди.

Толпа начала расходиться. Кто-то сказал: «Ещё одни их игры». Кто-то плюнул на землю. Рынок снова зашумел своим обычным шумом: крики торговцев, стук глиняных кувшинов, бряцание железа в кузнечном углу.

Енох поставил табличку на край лотка, аккуратно, чтобы не задеть другие. Потом на миг остановился, не зная, что делать с рукой. Пальцы правой повисли в воздухе, как будто что-то удерживало их.

Он медленно поднял их к груди. Под грубой тканью туники, между рёбер и ключицей, на верёвочке лежал маленький кожаный мешочек. Внутри — кусочек обсидиана, острый, как первый лёд.

Он коснулся мешочка кончиками пальцев. Не прижал, не сжал — просто коснулся, как прикасаются к краю сосуда, проверяя, не треснул ли.

Глубоко под кожей что-то откликнулось старой, знакомой болью. Он забрал руку, как будто обжёгся, и снова взялся за перо.

День тянулся. Ещё один спор о границе, ещё одна запись о купле-продаже коз, сухие слова о долгах и сроках платежей. Запах железа и мёда постепенно растворился в привычных запахах: дым костров, кислое вино, свежая глина.

К полудню тучи сгустились над Ермоном, но дождь так и не пошёл. Ветер принёс запах сырой земли и далёких гроз, которые пока не касались их долины.

Когда рынок стал стихать, и последние покупатели потянулись к домам, Енох собрал таблички в корзину, прикрыл влажной тканью и поднял на плечо. Плечо чуть ныло — тяжесть была привычной, но сегодня казалась большей.

Он прошёл мимо смоковницы, задержался на миг под её редкой тенью. С ветки сорвалась капля загустевшего сока и упала ему на руку. Он стёр её большим пальцем, оставив на коже липкий след.

Дорога к дому шла в сторону Ермона. Гора стояла там же, где всегда, тёмная, с сединой снегов на вершине. Ничего в ней не изменилось. Но воздух... воздух был другим.

Не сильнее, не тяжелее. Просто иначе натянутым — как верёвка, которую натянули слишком сильно, но пока не отпустили.

Енох остановился на дороге и посмотрел на гору дольше, чем обычно. Ветер шевелил полы его туники, приносил запахи от реки Дан — влажность, водоросли, глину. За спиной кто-то позвал ребёнка, кто-то захлопнул ставню.

«В деревне за рекой Дан, у старого дуба, который молния ударила...» — всплыла в памяти только что записанная строка. «...оставивший вмятину в земле в тридцать локтей длиной...»

Тридцать локтей тени.

Он ещё не видел этой вмятины. Знал только со слов женщины. Но слово уже жило у него на табличке, как зарубка на дереве.

Ему показалось, что тень горы на мгновение шевельнулась — не от ветра, не от облака. Словно земля под ней вздохнула и снова застыла.

Он моргнул. Гора стала просто горой.

Он пошёл дальше. Дом стоял на краю деревни, ближе к реке. Стены из сушёного кирпича, плоская крыша, низкая дверь. В проёме мелькнула тень — Мафусаил, должно быть, услышал его шаги.

Когда он подошёл, дверь уже была приоткрыта. Мальчик лет десяти, худой, с тёмными глазами, стоял, держась за косяк.

— Тяжело? — спросил он, глядя на корзину.

— Привык, — ответил Енох. — Поможешь?

Мафусаил кивнул, взялся за другой край корзины. Они вдвоём занесли её внутрь и поставили в углу, где было прохладнее. Внутри пахло золой, хлебом и ещё чем-то своим, домашним — тёплой кожей, детским потом.

— Ты опять весь день на рынке, — сказал мальчик, закрывая дверь. В его голосе не было упрёка, только констатация.

— Там спорили, — ответил Енох. — Камни не умеют ходить, но люди думают иначе.

Мафусаил фыркнул.

— Камни хоть молчат, — сказал он. — Люди — нет.

Енох улыбнулся краем губ. Он снял с плеча ремень туники и повесил на деревянный крюк у двери. Пальцы снова автоматически коснулись мешочка на груди — лёгкое касание, почти незаметное.

— Я слышал, на рынке кто-то кричал, — сказал Мафусаил, глядя на отца внимательнее. — Женщина.

— Она рассказывала, — ответил Енох. — Про след.

— Какой след? — глаза мальчика чуть расширились.

Енох на мгновение задумался, потом покачал головой.

— Потом, — сказал он. — Сначала вода.

Он подошёл к глиняному кувшину у стены, налил себе чашу и выпил, чувствуя, как прохладная вода с Данна стекает внутрь, смывая пыль и вкус рынка. Сухожилие на правой руке больше не чесалось. Осталась только усталость, тяжёлая, но понятная.

Вечером, когда солнце клонилось к Ермону и тень горы медленно ползла по долине, Енох вышел во двор. Воздух был неподвижным, густым. Где-то далеко глухо громыхнуло — гроза ещё держалась за дальние склоны.

Он поднял взгляд на вершину. Снег отливал бледным, тусклым светом. Между ним и небом ничего не было видно — только чистый, прозрачный воздух. И всё равно где-то в груди чесалось ощущение, что там есть ещё что-то, тонкое, как плёнка на молоке, которую не видно, пока не заденешь.

Он стоял, глядя, пока шея не заныла. Потом опустил голову, вернулся в дом и закрыл дверь.

Деревянный засов лёг на место с обычным глухим звуком. Но привычное чувство безопасности чуть сдвинулось — как камень, под которым вдруг обнаружили пустоту.

ГЛАВА 2 — ОНИ ПРИШЛИ НА РАССВЕТЕ

Туман над рекой был гуще, чем должен быть в это время.

Енох стоял на пороге и какое-то время просто смотрел в белую мягкую стену, в которую превратился двор. Воздух сырой, запах глины и мокрой соломы въедался в нос. Где-то под крышей лениво шевельнулась коза, звякнуло дерево о деревянное.

За спиной тихо дышал дом. Мафусаил спал, свернувшись клубком на циновке, из-под одеяла торчали только пятки. Дыхание ровное, глубокое — можно сходить к реке, пока мальчик не проснулся.

Енох накинул тунику, взял два пустых кувшина за ручки и вышел. Дверь за спиной щёлкнула, отпуская. Туман сразу облизал лицо — влажный, холодный, как дыхание пещеры. Под ногами чавкнула грязь.

Дорога к Данну шла под уклон. Обычно по утрам уже слышались голоса других, шорох шагов, иногда смех. Сейчас — никого. Только редкий звук капель, падающих с веток. Воздух висел тяжело, как перед грозой, хотя далёкий гром ещё не откликнулся.

Шаг приходилось выбирать осторожно, чтобы не поскользнуться. В тумане всё оказывалось ближе, чем казалось: вот уже смоковница, чёрный ствол, мокрая кора блестит, как сма-

занная маслом. Вот поворот, за которым обычно открывается вид на реку, — пока ещё скрытый белым.

Ладонь машинально провела по воздуху. На коже тут же осела влага, пальцы стали скользкими. Кувшины еле заметно звякнули друг о друга.

Когда последний дом остался позади, туман стал плотнее. Реку почти не было слышно — привычный шум воды будто накрыли толстым одеялом. За несколько шагов до края склона ноги сами остановились по привычке, чтобы не выйти в пустоту.

И там, где всегда была только трава и мокрая глина, стояли другие.

Сначала взгляд упёрся не в фигуры, а в саму траву.

Обычно кромка берега вытаптывалась до голой земли: сюда каждый день ходили за водой, босые ступни оставляли в глине вмятины, трава расплзалась в стороны. Сейчас у самой воды тянулась узкая полоса примятой зелени — но её не вдавили до корней. Стебли изгибались и поднимались, словно по ним прошло нечто, что нажало и сразу отпустило.

На этой странной полосе и стояли они.

Человеческий рост. Плечи, руки, силуэты, не слишком отличающиеся от обычных мужчин в тумане. Но свет.

Свет не падал сверху. Он шёл из-под кожи: ровное, бледное свечение, как от углей, прикрытых пеплом. Под тонким покровом кожи хорошо читались кости — над скулами и костяшками пальцев свет полосами выступал сильнее, словно там его ничто не приглушало. Из-за этого кожа казалась натянутой, прозрачной, как пергамент.

От этого света не становилось теплее. Холод с реки по-прежнему кусал открытые руки и шею. Ни один порыв воздуха не изменился, когда взгляд задержался на светящихся местах.

Тени вели себя ещё чужее.

Солнце ещё не поднялось над Ермоном. Свет в тумане был ровный, рассеянный; в такой тени обычно расплзаются и исчезают. От этих фигур тянулись узкие, очень чёткие полосы темноты — не к воде, не к дороге, а в сторону, где не было видно никакого источника света. Как если бы сбоку стоял невидимый факел.

Пальцы крепче сжали ручки кувшинов. Плечи чуть поднялись, осознавая, как голо открытое горло в этой белой тишине. На мгновение захотелось повернуться к дому, лечь рядом с Мафусаилом, натянуть одеяло на голову и потом сказать, что из-за тумана к воде сегодня не пройти.

Ноги не сдвинулись.

Один из стоящих у берега обернулся.

Черты лица туман съедал. Выделялся подбородок, линия носа, надбровные дуги. Там, где у людей бывают глаза, свет был чуть ярче — не вспышками, а плотнее, как в глубине черепа заложили два уголька и накрыли полупрозрачной тканью.

— Не подходи, — прозвучало внутри.

Мысль, не голос. Собственное «не подходи», сказанное чужим тоном. Ртов никто не раскрывал.

Шаг сам собой остановился. Дыхание ожило, стало слышнее обычного; пар от него почти не отличался от остальных завихрений тумана.

Ближайшая фигура сдвинулась навстречу. Трава под ступнёй примялась до середины и тут же слегка поднялась. Будто одновременно надавили тяжёлой рукой и тут же убрали ладонь.

— Ты Енох? — спросил незнакомец.

Голос — обычный. Низкий, охрипший от усталости мужской голос, как у пастуха, который слишком долго ходил по склонам и мало пил. Никакого эха, никакого звона; туман словно делал для этого звука уступ, пропуская его без помех.

Ответить кивком показалось недостаточным — расстояние, белёсый воздух. Слова вышли сухо, без привычной ровности:

— Да.

Правое запястье чуть дёрнулось, словно под кожей потянулся шрам — не болью, а напоминанием о себе.

— Я Семьяза, — сказал стоящий у воды. Глаза-угольки на миг скользнули по кувшинам, по пальцам, сжимавшим ручки. В сторону лица он почти не смотрел — как человек, который оценивает, выдержит ли другой груз. — Они... — лёгкий поворот головы обозначил остальных. — Мы ждали.

Слово прозвучало без особой надежды и без обиды. Как факт: ждали — вот стоит.

Взгляд невольно упал на воду. Данн внизу был темнее тумана, гладкий, едва заметно шевелился. Место, куда ежедневно спускались за водой, оказалось занято теми, кто никогда здесь не стоял.

— Зачем? — спросил Енох, почувствовав, как внутри горло стало сухим.

Пауза тянулась несколько ударов сердца. Казалось, все звуки утянуло ниже, к самым камням. Только скрытая где-то под туманом река тихо шуршала о берег.

— Ты писец, — сказал Семьяза. Не спрашивая. — Пишешь за других.

Слова «межевые споры» и «долги» так и не пришли. Потянуло перечислить всё, что приходится записывать на рынке, но в присутствии этих фигур привычные занятия показались слишком мелкими, неуместными. Ответ получился коротким:

— Пишу.

В стороне шевельнулась ещё одна тень. Свет под кожей у неё был слабее, будто глубже спрятан. На миг показалось, что эта фигура оценивает не руки, а лицо, но взгляд тут же вернулся к Семьязе.

— Нам нужно слово, — продолжил тот. — Наше. Записанное.

Никаких объяснений, почему выбрали именно его. Только простой «нам нужно».

Кувшины оттягивали кисти. В памяти ещё стояло ровное дыхание Мафусаила и тёплая тяжесть корзины с табличками вчерашним вечером. Здесь, над Данном, тяжёлым оказался уже сам воздух.

— У меня... — начал Енох и осёкся, не зная, что именно хотел сказать: «у меня есть работа», «у меня нет времени», «я не...» Ни одно из этих слов не подходило.

— Ты не солжёшь в записи, — сказал Семьяза, чуть сместив акцент на «записи». — Даже если захочешь. Это редкость.

В голосе не было ни восхищения, ни просьбы. Просто отметил качество, как отмечают: «камень твёрдый», «глина жирная».

Ответ на это не требовался. Что именно прозвучало сейчас — похвала, приговор или просто констатация — оставалось непонятным.

Семьяза отвёл взгляд к реке, затем снова вернул на кувшины.

— Набери воду, — сказал он. — Потом пойдём.

Команда прозвучала буднично, как если бы речь шла о любой другой необходимости. Но привычная тропинка к воде лежала как раз между ними.

Пришлось пройти ближе.

Когда ступня оказалась рядом с их ногами, взгляд упал вниз. У обычных людей нога оставляет в глине ровный, тяжёлый след. Здесь земля под светящейся ступнёй была только чуть вдавлена — почти так же, как под собственной. Но трава вокруг не ложилась полностью; кончики стеблей колыхались, как в воде.

Сердце сделало лишний удар. Кувшин в правой руке слегка качнулся, вода внутри по-прежнему отсутствовала, но тяжесть на пальцах стала острее.

Спуск к реке прошёл на автомате — шаг, камень, глина, ещё шаг. Данн встретил мутной, холодной гладью. Колени привычно согнулись, горло вспомнило наклон. Кувшины наполнились, тяжело загудели в ладонях. Холод от воды пробрал до костей.

Поднимаясь обратно, он несколько раз чувствовал, как взгляд Семьязы скользит по спине. Никакого жжения, никакого «сквозь», только ощущение, как если бы человек проверял, не упадёт ли несущий груз.

Наверху пришлось остановиться, чтобы перехватить кувшины удобнее. Плечи нили так, будто день уже прошёл.

— Вот, — сказал Енох глупую, лишнюю вещь, показывая воду, словно кто-то сомневался, что сумеет набрать.

— Поставь, — отозвался Семьяза.

У реки, где обычно выжидают очередь, сейчас стояли только они. Енох опустил кувшины на землю. Глина под донышками вздохнула, приняв тяжесть. Руки стали лёгкими и чужими.

Семьяза сделал ещё шаг ближе. Теперь расстояние было таким, что можно было разглядеть лицо получше. Кожа чуть светилась изнутри, но неравномерно: под глазами темнее, в висках светлее. На лбу залегли две глубокие складки, как следы от постоянного щурения на ярком солнце, которого здесь сейчас не было.

— Ты запишешь, что мы скажем, — произнёс он. — Всё. Так, как есть.

Не обещание, не вопрос. Задача.

Рот сам нашёл слова:

— Если возьму табличку, запишу.

Между ними на несколько ударов сердца повисла тишина. Словно оба прислушались к тому, что только что прозвучало.

Кто-то слева коротко кашлянул — сухо, как от пыли в горле. Свет под кожей у этого кашлявшего дрогнул, на миг стал ярче, потом снова ушёл глубже. Этот звук больше, чем слова, напомнил о том, что перед ним не дым и не тени, а существа, у которых есть лёгкие и горло.

— Табличку принесёшь завтра, — сказал Семьяза. — В эту же пору.

Никакого «если придёшь». Словно возвращение уже было решено.

Язык сам искал возражения — «на рынке ждут», «нужно...». Ничего из этого не прозвучало. Внутри не было ощущения выбора или согласия. Была только странная ровность, как перед тем, как взять в руки новую, ещё чистую глину.

— Завтра, — повторил Енох.

Семьяза кивнул — коротко, как мужчина на рынке, договорившийся о цене за козу. Остальные никак не отреагировали: ни вздохов, ни перешёптываний. Кто-то посмотрел мимо, кто-то перевёл взгляд на реку, будто разговор уже закончился и дальше остаётся только ждать.

— Ступай, — сказал Семьяза.

Дорога обратно заняла меньше времени. Кувшины оттягивали руки, мышцы болели привычно и даже успокаивающе. Туман начал понемногу редеть, из молочной плотности проступили очертания смоковницы, крыш, забора.

У порога дома из-под навеса выскользнула детская фигура. Мафусаил, босой, с растрёпанными волосами, жмурился в сырую белизну.

— Ты рано, — сказал он, увидев отца с полными кувшинами. — Туман ещё не ушёл.

Подошёл ближе, перехватил один кувшин. Вода внутри взболталась, плеснула о стенки. Мальчик поморщился.

— Тяжёлый.

— Вода всегда тяжёлая, — ответил Енох.

Мафусаил покосился на его плечи, на мокрый ворот, на лицо.

— Ты дрожишь, — сказал он и, прежде чем корзина оказалась в доме, уже тянулся к крюку, где висел плащ. Снял, встряхнул так, чтобы с нижнего края слетели капли ночной росы, и протянул отцу. — Надень.

Плащ пах дымом и домом. Ткань легла на плечи, забирая часть сырости. Руки перестали заметно трястись.

— На реке кто-нибудь был? — спросил Мафусаил так, будто это обычный утренний вопрос.

Язык на миг прилип к небу. На поверхности всплыло простое «нет», как лёгкая щепка. Под ним что-то тяжёлое скреблось о рёбра, не находя слов.

— Был туман, — сказал Енох. — Воды хватит.

Мафусаил посмотрел чуть дольше, чем нужно, будто проверяя не кувшины, а лицо. Потом кивнул, словно принял ответ, и потащил один кувшин в дом. Дверь раскрылась шире, выпуская тёплый воздух, запах золы и вчерашнего хлеба.

Енох задержался на пороге. Обернулся в сторону реки.

Туман там уже рвался на лоскуты. Между белыми полосами виднелась зелень, тёмная лента воды, дальние деревья. Фигур на берегу не было видно. Тропа к Данну выглядела так же, как всегда: вытопанная, проверенная десятками утренних походов.

Трава у самой кромки из этого расстояния казалась ровной сплошной полосой. Но взгляд помнил, как там она была примята только наполовину, как живая, не сломанная до конца.

Плащ чуть потяжелел от влаги. Под тканью кожа ещё помнила холод, исходящий от светящихся фигур. В груди стояла ровная, тугая тишина — не страх, не облегчение, что всё позади. Скорее ожидание, как перед первым словом на чистой табличке.

За спиной шевельнулся дом, послышался плеск воды в глиняном сосуде, голос Мафусаила, зовущий к завтраку. Енох шагнул внутрь и закрыл дверь. На мгновение задержал ладонь на деревянной перекладине, чувствуя под пальцами знакомую шершавость.

Дом был тем же. Воздух — нет.

ГЛАВА 3 — ДИКТОВКА

Роща начиналась там, где кончались огороды.

Дальше земля под ногами становилась мягче, тень гуще, запахи — влажнее. Листья оливы гладили друг друга при малейшем движении воздуха, тонко шуршали над головой. Между стволами ещё виднелся свет, но становилось прохладнее, чем у открытой реки.

Енох шёл медленно, держа табличку обеими руками. Глина была ещё чуть сырой — не настолько, чтобы смазать знаки от первого прикосновения, но достаточно, чтобы принять новые. Тростниковое перо он спрятал за ремень, привычно, в том самом месте, где много лет назад режущий край оставил на запястье светлый шрам.

Сухожилие сегодня не чесалось. Просто отзывалось присутствием — немой ниткой под кожей.

Сзади оставалась деревня: крики мальчишек, собачий лай, стук ступы у соседей. Здесь эти звуки превращались в глухой фон, словно кто-то укрыл их влажными листьями. Вперёд шёл один.

Стражи ждали в глубине рощи.

Их невозможно было перепутать с людьми, даже если бы не было света под кожей.

Даже со спины видно было: стоят не так. Мужики у реки опираются на одну ногу, наваливаются плечом на соседа, переносят тяжесть с пятки на носок. Эти — стояли ровно. Не выпрямившись демонстративно, а как будто их тела помнили какое-то иное равновесие. Ноги чуть расставлены, руки опущены, плечи расслаблены, но никакой тяжести вниз — будто каждый держал себя не к земле, а к какому-то другому центру, которого никто не видел.

Трава под ними была примята неровными кругами. Не грязь, не каша — стебли согнуты до половины, и всё равно тянутся вверх, как если бы кто-то разрешил им подниматься, но не до конца.

Свет под кожей тут, в полутени, был заметнее, чем у реки. Там туман съедал очертания. Здесь каждая полоска светлого в глубине была ярнее. Сквозь тонкую, почти пергаментную кожу на руках проступали кости, на висках — хрупкая сеть сосудов, над скулами — ослепительно-бледные дуги. Опасно было думать, что если чуть сильнее сжать их запястье, кость хрустнет, как обожжённая палочка.

— Пришёл, — сказал кто-то слева.

Енох узнал голос. Не Семьяза. Тот другой, в чьём тембре было что-то тихое и твёрдое, как камень под водой.

Азazel стоял, облокотившись спиной о ствол оливы. Свет под его кожей казался более собранным, чем у других, как если бы их жар разлился, а у него лежал плотным слоем.

Семьяза был в центре.

Он не делал ничего особенного — просто смотрел, как Енох приближается. Взгляд был направлен чуть ниже лица — туда, где в руках держали табличку. Глаза-угли в глубине черепа оставались спокойными. Ни жадности, ни нетерпения. Только внимание.

Енох остановился на расстоянии нескольких шагов. Отсюда можно было разглядеть их лица почти так же ясно, как у людей на рынке. Разница была в том, что в обычных глазах всегда есть отсвет того, что отражается снаружи: небо, ветка, другой человек. В этих — отражалось только собственное внутреннее свечение. Тьма вокруг не оставляла следа.

— Принёс, — сказал он, поднимая табличку чуть выше, словно показывая товар.

Семьяза кивнул — коротко, без благодарности.

— Сядь, — сказал он. — Так удобнее будет.

Енох огляделся. Нашёл взглядом плоский камень, наполовину вросший в землю у корней. Уселся, положив табличку на колени. Перо достал из-за ремня, зажал между пальцами. Сухожилие слегка натянулось, напоминая о себе.

Стражи не подошли ближе. Трое остались позади Семьязы, ещё двое — чуть сбоку, в тени. Азazel по-прежнему опирался о ствол. Вся роща, казалось, прислушалась.

Семьяза заговорил первым.

— Пиши, — сказал он. — «Мы, стражи...»

Енох опустил кончик пера в глину. Слова легли ровно: «Мы, стражи...» — буквы одна за другой, как шаги по знакомой тропе. Рука работала уверенно. Голос Семьязы был неспешным, но без торжественности. Просто перечислял.

— ...которые были поставлены над сынами человеческими, чтобы... — он на секунду замолчал, будто подбирая слово, — ...смотреть и хранить... просим...

Перо тихо шуршало по табличке. «Смотреть и хранить» показалось формулировкой слишком мягкой, но рука не остановилась. Это была их речь, не его. Его дело — фиксировать.

— Просим, — повторил Семьяза, — чтобы наш грех... — тут он нащупывал слова дольше, — ...был рассмотрен по закону.

— По какому? — неожиданно спросил Енох.

Слова сами выскочили, прежде чем успели отфильтроваться. Глаза Семьязы чуть двинулись, впервые поднявшись до лица.

— По тому, который был прежде нас, — сказал он.

Ответ не прояснил ничего, но и не был произнесён как загадка. Просто факт, к которому он привычен.

Перо продолжило движение. «...Был рассмотрен по закону, который был прежде нас...» Строка затянулась, но место ещё оставалось.

— Укажи, — сказал Семьяза, чуть замедлив речь, — что мы знаем: мы согрешили... — ещё одна долгая пауза, — ...против того, что нам было поручено.

Сзади послышался лёгкий смешок — короткий, как выдох. Азazel.

— «Согрешили» — слишком мягко, — произнёс он. — Ты говоришь так, будто случайно оступился.

Голос был тише, чем у Семьязы, но каждое слово отчётливо резало воздух.

Перо остановилось. Глина под кончиком успела чуть подсохнуть, оставив подушечке пальца лёгкий след.

Енох поднял глаза. Семьяза на секунду сжал губы, как человек, которому в рот попала песчинка.

— Скажешь по-другому — не станут слушать, — ответил он медленно. Без злости. — Скажи так, как можно.

Азazel оторвался от ствола, сделал полшага ближе. Свет под кожей шевельнулся вместе с ним.

— Так, как можно для них? — уточнил он. — Или так, как есть?

Семьяза не ответил сразу. Взгляд снова скользнул к табличке.

Енох почувствовал, как воздух между ними стал гуще. Не от звука — от того, что сейчас решалось не то, что напишут, а то, какое именно слово закрепит их поступок.

Сухожилие на правой руке слегка затянуло. Пальцы сжались крепче вокруг пера. Он положил перо на край таблички, аккуратно, чтобы не оставить случайных черт, и поднял взгляд.

— Вы говорите разное, — произнёс он. — Я не могу записать разное как одно.

Фраза прозвучала ровно, без вызова, но тишина после неё оказалась острой. Шорох листьев над головой, далёкое щёлканье кузнечиков, чей-то кашель — всё это отодвинулось на задний план.

Азazel посмотрел прямо на него. Не «сквозь», не «вглубь», а именно на лицо. Взгляд был холодный, прицельный, как у человека, который взвешивает, выдержит ли чужая спина ту ношу, что собираются на неё положить.

— Значит, не пиши дальше, — тихо сказал он. — Пока мы не скажем одно.

Где-то сбоку кто-то шевельнулся, но вслух не возразил.

Семьяза перевёл дыхание медленнее, чем нужно было для простой фразы. Ноздри чуть раздулись, невидимые мышцы на скулах напряглись, свет под кожей на висках дрогнул.

— Как ты скажешь, Азazel? — спросил он.

Вопрос прозвучал без вражды, но и без признания чужого права. Скорее — как уступка человеку, который всегда говорит жёстче.

Азazel отвёл взгляд от Еноха, опустил его в сторону, куда-то к корням дерева, у которого стоял.

— «Мы предали доверенное нам», — произнёс он. Пауза. — Так?

Слова были короткими и тяжёлыми, как камни. Не оставляли хода в сторону.

Перо в пальцах само слегка дрогнуло, будто кожа воспротивилась. Глина ждала.

Семьяза закрыл глаза на мгновение, затем открыл.

— Пиши так, — сказал он. — «Мы предали доверенное нам».

Рука Еноха снова опустилась на табличку. Знаки ложились чётко. «Мы предали... доверенное... нам». Шрифт не изменился, но каждый знак давался чуть медленнее, чем предыдущие.

— И что теперь? — спросил он, не поднимая взгляда, всё ещё чувствуя в воздухе неутихший спор. — Чего вы просите?

Семьяза ответил сразу, без пауз:

— Чтобы нас выслушали. Все.

Перо послушно вывело: «... чтобы нас выслушали...» Потом остановилось у края строки.

— «Все», — хмыкнул Азazel. — Ты всегда любил большие слова.

— Тогда скажи сам, — отозвался Семьяза. Голос стал чуть глуше, будто он говорил сквозь закрытые зубы. — Как ты хочешь, чтобы это звучало?

Азazel посмотрел мимо него, в просвет между деревьями, где кусочек неба казался чужой, слишком яркой заплатой.

— Чтобы тот, кто судит, знал всё, — сказал он, не торопясь. — Не только то, что удобнее слушать.

Эта формулировка была короче. И резче.

Енох почувствовал, как слова цепляются в голове за другие: «всё», «не только удобное». Перо зависло над глиной.

— «Чтобы судящий знал всё»? — уточнил он. — Так?

Семьяза чуть кивнул. Азazel не стал исправлять.

Письмо продолжилось. «...чтобы судящий знал всё...» Строка заполнилась до края. Пришлось спустить перо на следующую.

Дальше слова полились ровнее. Семьяза перечислял: что было поручено, что они сделали; как сошли с Ермона, как заключили клятву, как учили людей тому, чему не должны были учить. Где-то в середине Азazel вмешался — не в суть, в порядок.

— Этих троих назови по именам, — сказал он. — Если их будут считать, пусть считают не как безликую массу.

Енох записал имена. Некоторые — непривычные, с сочетаниями звуков, которыми не пользовались в их деревне. Рука чуть спотыкалась, но всё равно выдерживала ровную линию.

Иногда приходилось переспрашивать:

— «Оружие» или «железо»?

— Железо, — сказал Азazel. — Тогда не забудут, что это было вещью, а не просто умением.

Или:

— «Сошли к дочерям человеческим» или «взяли»?

— Пиши «взяли», — тихо сказал Семьяза. — Там, где мы сошли, слово мягче, чем дело.

Каждый раз, когда формулировка менялась на более жёсткую, воздух становился прохладнее. Листья над головой чуть заметно вздрагивали, хотя ветра не чувствовалось.

В какой-то момент пальцы начали ныть от напряжения. Тростниковое перо оставляло в глине всё более глубокие бороздки. Плечи затекли. Енох оторвал руку и аккуратно поставил точку в конце очередной фразы.

— Этого достаточно для начала, — сказал он. Голос прозвучал тише, чем хотел.

Семьяза посмотрел на него не сразу. Сначала — на табличку. Свет в глубине глаз стал чуть тусклее, чем был в начале.

— Прочитай, — попросил он.

Енох провёл большим пальцем левой руки по краю таблички, стирая крошки подсохшей глины, и начал:

— «Мы, стражи, которые были поставлены над сынами человеческими, чтобы смотреть и хранить, просим, чтобы наш грех был рассмотрен по закону, который был прежде нас. Мы предали доверенное нам. Просим, чтобы судящий знал всё...»

Голос сперва был ровным, потом где-то посередине фразы о клятве на Ермоне чуть дрогнул. Он заставил себя дочитать до конца, не торопясь и не глотая слов.

Когда замолчал, в роще повисла тишина, которую не сразу наполнили привычные звуки: стрёкот, далёкое карканье, шорох.

Семьяза стоял с прикрытыми глазами. Как человек, который слушает не только чужой голос, но и отзвуки своих же слов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.